

Игорь Шестков "На шее у Боцмана"

НА ШЕЕ У БОЦМАНА

Давно хотел рассказать коротенькую такую, жутковатую, но смешную историю, приключившуюся со мной в самый странный, мучительный, сумасшедший период моей жизни – в последние два месяца перед тем, как я навсегда покинул родину, распрощался с любимой Москвой. Много тогда всего произошло удивительного и непонятного... хватило бы на полноценный роман, главным героем которого был бы не я, а «отъезд», или на поэму, или на симфонию. Симфонию трагикомического разрыва отдельно взятого бытия.

Хотел-то, хотел, но все никак не решался...

Потому что это реальное происшествие... или случай... не знаю, как назвать... эскапада... каприз высших сил, вечно смеющихся над нашими насекомыми страстями... да вы не волнуйтесь, ничего особенного... эпифеномен... маленькое эротическое приключение с хэппи-эндом.

А меня и так многие считают порнографом.

Порнограф пишет для того, что возбудить в читателе или в самом себе эротическое чувство. Для сурового стояка и фонтанчика. А я пишу... чтобы, вспоминая и формулируя, загоняя пережитое в текст, окукливая его словами, нейтрализовать его яд. Делаю нечто обратное тому, что делает порнограф.

А то, что для этого приходится «залезать в трусы», «заглядывать за занавеску», воскрешать вытесненные или подавленные воспоминания – не моя вина. Ничего не поделаешь, до костей нас пробирают не ужасы тоталитарной коммунистической системы (к которой мы научились отлично приспосабливаться и даже получать от нашей подлости особое удовольствие), и не эксплуатация несчастных рабочих Африки и Азии (плодами которой мы так жадно пользуемся), и не фатальные изменения климата и экологические катастрофы (на которые нам чихать, главное, чтобы не у нас под носом рвануло), а именно такие, неважные вроде бы в историческом или космическом масштабе мелочи, частные постельные истории... реальные или виртуальные... и порождаемые ими страхи, прилипающие к подвижным стенкам нашего

сознания... атакующие нас изнутри.

...

Была у нас в классе девочка... маленькая, но красивая и умная, да еще и развитая не по годам... И опытная в любовных делах. Анечка Б.

Так вот она еще перед началом нашего студенчества планировала свою жизнь на сорок лет вперед и переживала... делилась со мной своими матримониальными опасениями.

– Знаешь, я слышала... стареющие мужчины... за шестьдесят... часто становятся педерастами. Омерзительно! Представляешь, ты его любишь, живешь с ним, делаешь с ним детей, а потом оказывается, он – педераст. Он тебя посылает, и ты остаешься одна. До самой смерти. Потому что ты постарела и никому не нужна! Я ничего этого не знал. Жизнь не планировал. Не знал толком, кто такие «педерасты». Ничего вообще не знал и знать не хотел. О будущем не думал. Упивался настоящим, как шмель – нектаром на цветке. Хотел стрекотать и прыгать как кузнечик... и стрекотал и прыгал... на грязном московском асфальте.

Мужчин «за шестьдесят» я представлял себе заплывшими жиром, морщинистыми советскими номенклатурными боровами, гадко хрюкающими и сжирающими все, что им в пасть попадает, или болезненно худыми кашеями, костлявыми злодеями и нелюдьми, вроде Сулова.

Какой может быть секс у этих гадких существ? Скорее бы подошли.

Представить себе, что я сам когда-нибудь... превращусь в старца, в зловонное чудовище, да еще и занимающееся любовью с другими такими же монстрами – я был не в состоянии. Тьфу, тьфу...

Думал: Со мной все будет по-другому. Я не умру, даже не состарюсь... И всегда буду любить милых женщин. Пилюли бессмертия изобретут китайские или американские ученые (тогда многие, не только неоперившиеся юнцы, но и зрелые люди, верили во всеильную науку), а если не изобретут, выращу – с помощью особой магической силы, которую всю жизнь в себе прозревал – такую пилюлю в себе сам и буду наслаждаться вечной юностью, как алые и желтые тюльпаны в конце мая в Александровском саду наслаждались в те времена своей недолгой тюльпановой красотой, радуя глаза и согревая души не избалованных

нежным цветочным великолепием москвичей.

Анечка не только опасалась, но и обосновывала свои опасения.

– Понимаешь, стареющие женщины устают, теряют красоту и желание. Тело перестает вырабатывать какой-то там гормон. Им и в тридцать-то часто ничего не надо. А у мужиков не так – и если они себя водкой или деланьем карьеры не угробили, у них и в шестьдесят кровь как шампанское... Из них песок сыпется, а им трахаться надо... а бабушки их только ворчат, внуков нянчат да пироги пекут. Поэтому богатенькие старички лезут в постель к молодыхам. Покупают свежее мясо. Остальные – или дrouchат тоскливо в одиночестве, или – те, кто посмелее, находят для спаривания таких же как они, похотливых старых козлов и становятся законченными пидорами. Мерзко. Хочу мужа – доктора наук, высокого, красивого, чистюлю и умницу, чтобы меня кормил, холил и любил до самой смерти... Делал умных и здоровых детей и драгоценности дарил. Меня от анечкиных слов бросило тогда в жар и трепет. Потому что я живо себе все это представил. Как бросаю жену и становлюсь «похотливым вонючим козлом».

Кстати, Анечка сделала позже деньги на непонятных мне махинациях с недвижимостью в странах третьего мира, и вполне могла покупать себе драгоценности сама...

И мужа получила именно такого, о котором мечтала. Собранного, целеустремленного, талантливого и детолюбивого. Здоровой маскулинной гендерной идентичности, как сейчас говорят. Видел его на фотографии. И дети у нее умные и здоровые.

...

После МГУ Анечка аспирантовала где-то в провинции. То ли в Орле, то ли в Курске.

И подцепила там иностранца – доцента-практиканта, слависта. На живца изловила. Норвежца или шведа, не помню. И укатила с ним то ли в Стокгольм, то ли в Осло. Выучила язык на удивление быстро. И не один. Начала вкалывать и преуспела. Позднее еще и отца вытащила из СССР... вместе с новой его семьей. Нашла подходящие «гуманитарные программы». И брата и еще кого-то. А мать Ани в Москве осталась, хотя дочь все для ее отъезда подготовила.

Осталась назло бывшему мужу, дочери и всему свету. Об этом сообщила мне Анечка в одном из своих редких писем... мы переписывались года два после ее отъезда.

Как звали эту мамашу, я забыл, пусть будет – Белла Марковна. Но внешний ее вид и характер помню прекрасно.

Нахрапистая такая женщина, ужасно нервная, с мигренями, фигуристая... въедливая редакторша московского литературного журнала из первачей... всезнайка... крепко побитая советчиной, но не сдавшаяся, а интенсивно терроризирующая коллег, мужа, дочь, сына, и всех, кто попадал ей в лапы. Аня рассказывала, что мать в молодости сама пописывала стишата... декламировала их на поэтических сборищах... приятельствовала с Вознесенским и Рождественским.

Была пропущена сквозь огонь и воду... и замолчала, так и не дождавшись медных труб.

А позже и сама жадно и яростно жгла и топила молодых авторов-энтузиастов, имевших дерзость что-то написать и послать в ее журнал...

И еще Аня рассказывала мне, что ее мать «балуется гипнозом и лечит неврозы и психозы у своих многочисленных подруг, таких же околомитературных сов, как и она».

Страсти-мордасти!

Один раз был я у Анечки в гостях... еще школьником.

Небольшая квартира... несколько цветастых, неизвестных мне тогда, картинок Клее на стенах... гарнитур... торшеры... книжные полки... Литературные памятники... лютневая музыка... все, как полагается.

Ели мы удивительно жилистую и худую курицу, которую мне представили как «цыпленка табака». Чесноком воняло ужасно. Жевать этого «цыпленка» было невозможно. Я взял крылышко, покусал его, пососал и положил назад в тарелку. Анечка хмыкнула. Ее тактичный папа сделал вид, что ничего не заметил. А мама прищурилась, недовольно покачала головой и сверкнула глазами. Нервно постучала покрытыми красным лаком ногтями по столу.

Беседовали мы кажется о современной американской литературе. Аня что-то спросила свободно читающую по-английски и «имеющую доступ» мать о

малоизвестных в СССР битниках, Керуаке или Гинзберге, а Белла Марковна почему-то обозлилась и так резко и зло ответила, что я испугался... а затем как мог быстро ретировался. Помню, последней ее репликой, обращенной ко мне, было: Антон, не вихляй бедрами, когда по улице идешь, а то ты сзади похож на женщину в шубке.

Представил себя сзади – точно, женщина. Испугался.

Спрашивал потом друзей – похож я сзади на женщину?

Один сказал: Скорее на беременного бегемота!

А другой: Нет, на верблюда, который минуту назад с трамплина в Лужниках прыгнул. Без лыж.

Остряки!

...

Когда пришел мой черед эмигрировать – я решил найти Аню и попросить ее стать моей советчицей на первых порах заграничной жизни. Потому что не знал, что меня ожидает. Был растерян, как все совки, намылившиеся валить. Всего боялся. Голова у меня шла кругом... Я подозревал, что никому в Европе не нужен, и что жизнь там не будет такой сладкой, как нам всем тогда казалось. Опасения эти, кстати, оправдались... и очень скоро.

Кружился как осенний лист... и отчаянно всем надоел «эмигрантскими разговорами».

Заграничный телефон Ани у меня был, но связаться с ней я, как ни старался, так и не смог. Позвонил по старому московскому номеру, знакомому еще со школы. В ответ услышал не гудки, а какое-то электрическое клохтанье и завывание.

Музыка заиграла. Менуэт. А затем чужой мужской голос прокричал в сердцах: Кто придет? Одноклассник? А жрать он захочет? Давай, доставай цыпленка из заморозки! Оловянная твоя голова! Пупырышки посмотри... не синие ли.

Может, протух.

Затем этот посторонний голос пропал. К телефону подошла женщина.

– Ало.

– Добрый день, я хотел бы поговорить с Аней, если она сейчас случайно в Москве.

– А вы кто?

– Я – Антон, ее бывший одноклассник. Был у вас когда-то в гостях. Курицу ел.

– Курицу? А что вам от нее надо?

– От курицы – ничего. А вот от Анечки – да... надо... собираюсь уезжать, хотел с ней посоветоваться... о том, о сем.

– Аня в Вене.

– Знаю, знаю, может быть вы мне ее телефон дадите?

– А вы денег у нее просить не будете?

– Не буду, обещаю.

– Все обещают, а потом просят.

– Не буду просить. Ничего просить не буду. Но поговорить хочу. Потому что побаиваюсь новой жизни, порядков, не знаю, как себя поставить...

– Ладно, приезжайте, посмотрю на вас, если вы действительно такой смирный, дам вам номер телефона.

– Когда?

– Да хоть сегодня вечером. В семь. Вы дорогу помните?

– Забыл. Двадцать лет прошло.

– Доезжайте до метро «Молодежная», а потом идите к магазину обуви... Молодогвардейскую перейдите... по Партизанской идите, потом налево, там дома рядами... кирпичные пятиэтажки... в третьем ряду дом... похож на склеп... обшарпанный... подъезд открыт, потому что замок уже год как взломан... второй этаж... квартира...

– Понял, буду.

Вместо «пока» или «до встречи» опять заиграл менуэт. Тот же самый. Осточертевший. Боккерини. Сопровождался он почему-то негромким лаем и подвыванием. А потом тот же грубый мужской голос проорал: Кончай базар, скоро гости придут. Размораживай цыпленка! Пупырышки посмотри...

Я не стал его слушать, положил трубку.

Голос Беллы Марковны показался мне незнакомым. И странным. Как будто кто-то во время разговора произвольно менял настройку тембра. И тихонько булькал. Или сдавленно глотал как утопленник.

Пупырышки...

...

Кунцевский район знаменит своей шпаной. Детские воспоминания не давали мне покоя. Унижения... избиения... визг, плач. Капли крови на снегу. Как дикие вишенки...

Шел и думал... вот сейчас подойдут... человек шесть... окружают черным кольцом... дядь, дай закурить... потом сбоку блеснет нож...

Никто ко мне не подошел. Наоборот, от меня шарахнулась какая-то женщина с девочкой лет семи. Я все равно испугался...

Замок действительно был взломан. В подъезде было грязно, невыносимо воняло блевотиной. Какие-то дурацкие плакаты с африканскими масками покрывали стены. Несколько черных куриц висели слепыми головами вниз. Вуду?

Поднялся на второй этаж. Дом производил впечатление необитаемого, готового к слому сооружения. Мусоропровод был заварен. Стекла в подъезде выбиты.

Или это не жилой дом... а задняя часть заброшенного кинотеатра?

Позвонил.

Вместо шагов – услышал странные звуки. Как будто кто-то волочил по коридору мешок с картошкой или мертвое тело. И опять – вот уж никак не ожидал – наверное где-то у соседей заиграл чертов менуэт. Может, он у меня в мозгах играет? Бывает такое, послушаешь – привяжется. Как же этот отъезд мне нервы вымотал... походы в ОВИР... разговоры с друзьями и подругами...

родственники...

– Кто там?

– Антон, Антон... я не кусаюсь.

Дверь медленно открылась и из нее вышла на лестничную клетку на Белла Марковна, а большая собака, похожая на лису. Глаза – полны злобы и ужаса. Шкура отливает в электрический фиолет. Пена на пасти. Клыки, как у вампира... Я вытаращил глаза. Сглотнул набежавшую слюну. Сжал кулаки.

Сейчас зарычит и бросится...

Но уже через мгновение собака пропала... передо мной стояла мать моей одноклассницы, приветливо трясла мне руку и приглашала к себе.

В халате она что ли? Нет, в старом бальном платье.

Брошка золотая. Позвякивающие браслеты на руках...

Никогда бы не узнал... Или изменилась, или – это не Анина мама, а посторонняя

женщина. Не стал себя мучить... вошел в квартиру, повесил куртку на вешалку с рогами, разулся, и был препровожден любезной хозяйкой в гостиную. Ну и разрез у нее сзади! Лихой...

...

Мы сидели напротив друг друга в старинных креслах с пурпурной, с золотыми звездочками, парчовой обивкой... между нами посверкивал синими гранями шестиугольный стеклянный столик на позеленевших медных ножках. На столике не было ничего, кроме бутылки красного вина, двух бокалов и крохотной резной фигурки Анубиса.

Мне было неудобно... пришел в гости, а с собой ничего не принес... Белла Марковна угадала мои чувства.

– Ничего, ничего, не стесняйся, Антоша. Все понимаю. Приехали с этой перестройкой в голодный барак. Правильно поступаешь, уезжай. К черту Совок. Проживешь вторую половину жизни среди нормальных людей, а не среди ватников и ушанок.

– А вы что же?

– Что мне, старой перечнице, надо? Я уж как-нибудь тут перекантуюсь. Где родилась, там и пригодилась. Год до пенсии остался...

– А вы уверены, что ее платить будут?

– А ты уверен, что сможешь в Европе заработать на хлеб с маслом?

– Я ни в чем не уверен. Но тут, в совке нету больше масла, а за хлебом я вчера сорок минут в очереди стоял. Хотел взять батон. А когда очередь подошла, сказали: Нету хлеба. Сегодня завоза не будет.

– Сделать тебе бутерброд? У меня еще сыр остался от последней посылки.

Рокфор. Голубой, с плесенью.

– Спасибо, не надо. Извините, что я с собой ничего не принес. Хотел бы подарить вам цветы и коробку шоколадных конфет. Но нету нигде ни того, ни другого. А на рынок идти – денег нет. Я последнее время в церкви работал. Мне там платили сто рублей в месяц.

– Как же это тебя угораздило...

– Институт послал, а в церковь привел... случай. Ничего, зато я теперь точно знаю, что это за контора. Может когда рассказ напишу... Я ведь даже с

владыкой Кириллом познакомился. Сволочь редкая...

– Расскажи, почему ты институт бросил. Ты же вроде хотел карьеру делать... Кстати, твой папа жив еще? Я его еще несколько лет назад из вида потеряла, когда он из правления вышел.

– Жив. Бедствует. Как все мы. Жалко его. Потерял лоск и вес. Смерть мамы перенес плохо. Хотя она умерла уже после их развода. Связался с какой-то... Та его обобрала.

...

Я старался глубоко не рыть и особенно не расходиться... говорить иронично-обтекаемо... Но все-таки разошелся... как Иван Грозный в письмах к Курбскому... вошел в раж... изругал институт, церковь, Москву, перешел на политику... выложил все, что накопело.

– Бабушка умерла, дедушка... да, тот... в дурдоме. С женой – в долго длящейся ссоре. Почти не разговариваем. Уезжать буду без нее. Другая бабушка меня не узнает. Школьные друзья куда-то подевались. Никого нет рядом. Все, что мы как-то построили, чем мы жили, разрушается... Может и к лучшему. Ведь мы не люди, а советские огрызки.

Воспаленный мой диалог продолжался минут сорок и кончился нервным припадком.

Я потерял себя и плел непонятно что... От волнения.

Оттого, что меня слушает зрелая умная женщина. Которую мне вдруг так захотелось поцеловать...

– Может быть тебе цыпленка зажарить?

– Не хочу я ваших цыплят! Ненавижу птиц! Особенно жареных. Почему эти идиоты американцы всех нас не поджарили, когда могли? Погодите, мы еще очнемся от летаргии... встанем с колен... но строить ничего не будем... мы вначале коррумпируем, а затем уничтожим мир. Это единственное, на что мы способны. Наследники Ежова и Малюты.

Со мной такое бывало несколько раз в жизни. Хорошо еще смог остановиться – на краю обрыва – и не расплакался, как ребенок. Напоследок сказал: Знаете, что мне ваша дочь еще в школе о стареющих мужчинах рассказывала?

И поведал Белле Марковне о шестидесятилетних педерастах. Вроде как

нажаловался.

Белла Марковна слушала мои дозволенные речи чуть прищурясь, снисходительно... не без наигранного и потому обидного одобрения. В конце моего монолога она встала, подошла ко мне и погладила меня по голове.

– И ты боишься стать в старости голубым? Нашел, о чем беспокоиться.

– Я не стану пидором! Это ужасно. Анькины сказки.

– Уверен?

...

Номер телефона дочери Белла Марковна сообщать мне не спешила. Вместо этого начала рассказывать длинную и нудную историю про какого-то эмигранта первой волны. Мага, кажется. Про его приключения в Париже. Упомянула шкатулку с секретом, которую он будто бы нашел в подвале особняка, когда-то принадлежавшего маркизу де Саду. А в ней был порошок. Он его понюхал и получил возможность делать удивительные вещи. Совершать неслыханные превращения, воздействовать мыслью на людей и путешествовать во времени. Цитировала наизусть популярную тогда Тэффи...

Я историю слушал невнимательно, не верю я во все эти чудеса... грыз себя за то, что так долго говорил... не мог заткнуться, психопат... истерик.

Тоскливо размышлял о том, как буду зарабатывать за границей деньги...

Белла Марковна принесла из кухни вторую бутылку. Настойку или ликер.

Долго рассматривал этикетку с физиономией назойливого Сганареля и тремя важными фигурами в одеждах Ватто. Называлось эта сладковатая жидкость – «Слуга трех господ». Дикое название. Перевела мне его хозяйка дома. С французского. Наверное Анька прислала эту сивуху вместе с сыром. Чтобы подсластить жизнь оставленной мамочки.

Когда мы ее допили, я почувствовал, что сильно опьянел.

Ох, не пропасть бы...

Черные курицы бегали перед глазами.

Менуэт играл.

Сам не знаю, как это получилось... встал... подошел к Белле Марковне... обнял ее и присосался ребяческим поцелуем к ее губам...

...

Она меня не оттолкнула.

Обняла.

Через несколько минут я сам отпрянул от нее... потому что вдруг осознал, что целуюсь с пожилым мужчиной. Голый, в постели.

И я тоже был стариком. Руки покрыты пигментными пятнами. Ноги высохли и посинели. Живот отвис. Одышка. Господи, что происходит?

Комната, в которой стояла кровать, никак не походила на комнату московской пятиэтажки.

Шелк на стенах и потолке.

Рыцарь с алебардой в углу.

Темные портреты неизвестных мне вельмож.

Пианола.

Как только я посмотрел на нее, она заиграла менуэт. Опять чертов менуэт!

А стоящий рядом с ней румын заскрипел на скрипке. Румын...

В воздухе запорхали ночные бабочки.

Повеяло сыростью.

Запахло шоколадом.

Вельможи на портретах начали кланяться, а рыцарь попытался сделать несколько шагов, но упал и разлетелся на куски.

Я посмотрел в лицо обнимавшему меня мужчине. Кто это?

Папа?

Дедушка?

Учитель истории?

Умерший друг?

Поражаясь себе, ощутил страшное влечение к этому существу, нежно целовавшему меня... морщинистому... лысому... с дряблыми висячими грудями.

Целовал его соски... ласкал член...

Как долго? Не знаю.

Неожиданно услышал звонкий женский смех.

– Очнитесь, очнитесь же наконец, молодой человек, извините, я только хотела немножко с вами поиграть... Наказать вас за простительную дерзость.

Освободить ваше – хи-хи-хи – бессознательное...

Я все еще сидел на стуле за шестигранным столом. Напротив меня восседала Белла Марковна и снисходительно смотрела на меня.

Большой палец моей правой руки... был у меня во рту. И я сосал его и ласкал языком его шершавую соленую подушечку.

Из зрительского зала, находящегося позади нас, послышался вялый аплодисмент.

...

Что было дальше, я не помню. Пережил что-то вроде блэкаута.

Пришел в себя в вагоне метро. Где-то у Киевской радиальной.

Перед глазами – темно, в душе пусто. Противно немного. Как будто по затылку чем-то тяжелым ударили. Вроде и не больно, но муторно. Постепенно сознание возвратилось...

Вышел на остановке и, сам не знаю зачем, начал смотреть на эти идиотские фрески на стенах. Машинально.

Остановился у одной. В середине стоит сдобный такой седоусый дед в фуражке и мундире... с медалями. Роба у него удивительно тупая. «Народная».

Тупой... и немножко на Сталина смахивает, как и все старики на сталинских фресках...

А слева и справа от него изображены – молодой шахтер с отбойным молотком и пацан из ремеслухи с книжкой в руке. Вроде как этот дед передает эстафету молодому поколению. Работайте дальше, мол... всю жизнь. Получите ордена и медали. Как я.

Все это на золотом фоне. Такая советская картинка-агитка.

Смотрю я на нее, снизу-вверх, понятное дело, и вижу, как этот поганый дед с усами голову свою поворачивает, опускает и на меня смотрит. А роба у него, уже не ветеранская, а сталинская.

И Сталин этот улыбается мне со стены...

Вот... подмигнул даже... гадливо так... и рукой поманил меня в фреску... входи, мол.

И я – как акробат – прямо по воздуху... медленно-медленно к нему полетел.

В воздухе все представлял себя сзади женщиной. Теперь уже точно знал,

какой...

Надеждой Аллилуевой!

Сталин обнял меня за талию и потащил в золотую шелковую жуть...

Пахло от него, как и полагается, табаком папирос Герцеговина Флор и вином Киндзмараули. И еще давно немытыми ногами. Рябая его морда была похожа на морду рептилии...

– Наденька, иды суда!

Последующую сцену я описывать не буду, предоставляю читателю самому представить себе – при желании разумеется – половой акт шестнадцатилетней девушки с почти сорокалетним сухоруким Сталиным, ее родным отцом. Это было пожалуй самым мерзким, что я испытал на родине за свои три с небольшим десятка лет.

Второй блэкаут длился дольше первого.

Очнулся я на сей раз не в метро и не за шестиугольным столом Беллы Марковны. Поначалу и не понял, где. Так темно было вокруг. Я сидел на чем-то холодном, металлическом. Как бы верхом. Или на шее у кого-то?

Ощупал металлическую же голову, за которую держался руками... обернулся, рискуя сорваться в пропасть... и тут же узнал знакомый с детства силуэт.

Вы конечно не поверите... я сидел на шее у Боцмана. Так звали студенты памятник Ломоносову (с пером и манускриптом), что стоит в Университетском парке недалеко от Клубной части МГУ.

Как я на него забрался, мне неведомо, но слезать с него было очень-очень трудно.

Лет через десять после эмиграции я наконец связался с Аней Б..

Позвонил ей, мы поговорили... рассказал ей о том, что перед отъездом посетил ее маму в Кунцево. В ответ услышал недоуменное молчание.

– Моя мать, – проговорила Аня с достоинством, – умерла примерно за три года до твоего отъезда. – Не знаю, у кого ты был и где, только не у нее. И жили мы не

в Кунцево, а в Очаково. Ты же сам ездил ко мне на свидания на автобусе от Юго-Западной. Как же ты мог забыть?